

Рассказ Ивана Михайловича Бакирова (о Емельяне Пугачеве в передаче И. И. Железнова)

— Если б жив был родитель мой, — царство ему небесное, — вот он бы рассказал тебе об нем не так, как я, — так начал речь свою Иван Михайлович Бакиров, когда я заговорил с ним о Пугачеве. — Бывало, заведет это он речь об нем, говорит, говорит, что твои гусли; слушаешь, слушаешь, а все слушать хочется: такая уж суспиция любопытная! Да ты, чай, и сам кое-что слышал и помнишь от родителя моего, когда есаулом был у нас, — прибавил Бакиров. — Ведь помню: бывало, вернется родитель домой поздно вечером, спросишь: «Где был, батюшка?» — «У есаула!» — скажет. «Что так долго?» — спросишь. «Да что, долго! — скажет. — Все о Петре Федоровиче спорили». Чай, помнишь? — спросил меня Иван Михайлович.

— Помню, что споры-то мы вели, — сказал я. — Помню, Михайла Михайловича, — царство ему небесное! Михайла Михайлович, бывало, говорит, что Пугач был не Пугач, а я, бывало, говорю, знаешь, по книжке, что Пугач был настоящий Пугач, то есть беглый с Дона казак, это-то помню. А вот главного-то не помню. Не помню, примерно, что Михайла Михайлович говорил мне о прущком короле, о турецком салтане, о корабельной пристани, о заморской принцессе...

— О какой заморской принцессе? — перебил меня старик-собеседник, внимательно следивший за каждым моим словом.

— А о той, что на корабельной-то пристани с ним гуляла, — сказал я, и тут же прибавил несколько подробностей, слышанных мною от монахини Августы.

Иван Михайлович несколько раз отрицательно покачал головой, потом заговорил:

— Кто ни на есть другой тебе напутал, а не родитель мой, иль-бо сам ты запамятовал, а я от родителя моего ни слова не слышал ни о какой заморской принцессе. Правда, всему миру, чай, известно, гулял он на корабельной пристани, да только не с заморской принцессой, а с

российской дворянкой, девицей, прозванием, как бы не солгать, Воронцовой. Она была питерская, дочь какого-то енерала ли, графа ли, князя ли, — хорошенько не умею сказать, а только, за верное знаю, наша была, то-ись российская, а не иностранная какая прыгнцесса иль-бо марграфиня...

Имя Воронцовой, слышанное мною в первый раз из уст простого старика, яицкото казака, признаюсь, несколько удивило меня, и я, разумеется, тотчас же пожелал узнать, почему Ивану Михайловичу известна эта статья.

— Почему же знали здесь, на Яике, про Воронцову? — спросил я.

— Как почему? — отвечал старик. — Ведь он под веселую руку всю подноготную о себе рассказывал своим приближенным и наперсникам.

— Да он мог врать! — заметил я.

— Зачем ему было врать? — возразил старик-собеседник. — Да хоша бы он и не говорил ничего, так и без того об этой статье здесь знали. Ведь от нас, сам, чай, знаешь, испокон-веку кажинный год раза по три, по четыре ездили казаки в Москву и в Питер с царским кусом. Так как же не знать, что там дееется? Шила в мешке, батенька, не утаишь.

— Да кого ни коснись, болячка эта оченно больна, — говорил Иван Михайлович. — Как донесли шпионы матушке-царице, что он проклаждается на корабельной пристани с своей возлюбленной, то-ись с Воронцовой, она, царица-то, не стерпела и сама туда побежала. Пришла к нему и говорит: «Не будет ли гулять? Не пора ли домой?» А он ей говорит: «Давно ли яйца стали курицу учить? Пошла домой, покуда цела!» Она было еще заикнулась что-то сказать, да он не дал: затопал ногами, зацыкал на нее, — она и убежала домой. Пришедши домой, созвала к себе Орловых, Чернышевых и других, кто ее руку тянул, подняла из церкви образа, отслужила господу-богу молебен, пригласила полков пять гвардии, привела их к присяге, да и надела на себя царскую корону и сделалась анператрицей, повелительницей всей анперии, замест Петра Федоровича. А на корабельную пристань послала строжайший именной указ ко всем корабельщикам, чтобы они отнюдь его к себе не принимали. А он, вишь ли, хотел с Воронцовой-то бежать на корабле в иную землю, знамо, к приятелю своему, прущкому королю, — ведь закадычные друзья были, — да не мог бежать: ни один корабельщик не взял на корабль, все запрещены были. Царица-то в указе писала: «Кто де осмелится это сделать, — велю де того

догнать и злой смерти предать!» Так он и остался на нашем берегу, словно сокол с подрезанными крыльями. А около дворца государыня караулы расставила, чтобы и близко не подпускали его, велела стволами бить, есть когда будет силиться. На другой день, под вечерок, он и взаправду пришел было к ней, да караулы не дремали, не допустили его, — едва-едва и сам-то ноги унес.

Затем старик рассказал сцену с часовым, почти слово в слово, как монахиня говорила; а потом продолжал:

— Он не смотрит на часового, силится во дворец, а часовой отводит его стволом, однако не смеет ни бить, ни колоть. Напоследок часовой крикнул: «Караул, вон!»

С абвахты, что у ворот была, и высыпал караул, и стал под ружье. Петр Федорович подходит к караулу и спрашивает:

— Признаете ли вы меня?

Караульный офицер говорит:

— Нет, не признаем! В первый раз и видим тебя.

— Я ваш анператор! — говорит Петр Федорович.

— Нет у нас анператора: у нас анператрица! — говорит караульный офицер.

— Анператрица! — кричит Петр Федорович. — Знаю, есть у нас анператрица. Да я-то анператор! Муж вашей анператрицы!

Но офицер так и не пустил его.

Ничего не поделаешь, — заметил рассказчик. — Петр Федорович должен был уйти. А она, царица-то, открыла в палатах сверху окно, высунулась оттуда, засмеялась, да и крикнула ему взад-то:

— Что взял? Ступай теперича, — говорит, — к своей возлюбленной, а я, — говорит, — и без тебя проживу: на свете не без добрых людей... Кто данибудь и научит уму-разуму, как царством владать. Не я, говорит, первая, не я, говорит, последняя из женска пола царствовать буду.

Остановился он, прослезился, с досады, значит, сжал кулак, погрозил ей в окно, да и сказал:

— Ну, добро же, голубушка: будет и на моей улице праздник. Солью тебе я крест, да и вызолочу. На свете не без добрых, людей: кто да нибудь и поможет мне подобрать тебя к рукам. Смотри, крепись тогда!

— Ступай, ступай! — говорит она, и захлопнула окно.

Постоял, постоял он под окном, ничего не выстоял. Ушел.

Спервоначала бросился было опять на корабельную пристань, а и там получил то же, что и во дворце: знаешь, именным указом царица застрашала корабельщиков. Куда деваться? Никуда больше, как итти переночевать в загородный дворец: там еще этого дела не знали. И удалился он в загородный дворец. На другой день, помня присяжную должность, к нему пристали полк ли, два ли гвардии, верного не умею сказать, да и сам-то он, родитель, мне говорил, и сам-то он верного не знал, до того ли было ему; только малость какая-то пристала к нему. С этими полками он и хотел супротивляться царице, однако сила ее силу его преодолела. Она со всей гвардией и со всей артиллерией, — а у него ни одной пушченки не было, — выступила супротив него, словно Бобылина супротив турок; учинила с ним за городом стражение и победила — ловка была! — а самого его в полон взяла, словно турка, и в том же самом загородном дворце под караул посадила. Какова? Нечего оказывать, ловка. Посадимши его под караул, велела отпускать ему по царскому окладу жалованье, а воли ни на один пядень не давать, то-ись никуда за порог дворца не выпускать его и к нему никого не допускать, кроме этих троих прислужников, да караульного офицера. И тут же, при всех енералах и сенаторах, при всем духовном чине, обязала его подпиской, то-ись взяла с него по форме запись в такой силе, чтобы ему в царство не вмешаться, а быть бы век-по-веки отставным царем, а царствовать ей одной. Волей-неволей он и покорился и дал за своей рукой такую запись.

— В ту пору, как он содержался в заключении, — продолжал рассказчик, — близкие-то к государыне енаралы и графы, эти Орловы и Чернышевы и иные прочие ненавистники Петра Федоровича, разными обвиняками советовали государыне, как ни-на-есть извести его, чтобы, знаешь, не вышло чего после, — чтобы не было, знаешь, какой придирки от иных царей и королей, его сродников, особенно опасались прущкого короля Фридрика, — ведь приятель был нашему-то, то-ись Петру Федоровичу-то. Однако, Государыня, отдать ей справедливость, не поддалась, не согласилась. Да и как, в самом деле, согласиться на такое беззаконие? — прибавил рассказчик. — Ведь какой ни-на-есть, а все-таки он муж, а все-таки он царь, помазанник

божий, — дело великое! Да и царевич, Павел Петрович, был уже на возрасте... Поэтому самому она и берегла его, крепко сторожила, чтобы не вышло какой пакости от Орловых.

— И просидел он в заточении не мало — не много, ровно семь годочков, — продолжал Иван Михайлович. — Хоша он содержался и не в настоящей тюрьме, в каких содержатся колодники, а в палатах, и ни в чем не имел недостатку, примерно, ни в питьях, ни в яствах, ни в другом в чем, всего было вдоволь, однако не сладко же ему было сидеть. Первое — царства лишился; второе — свободы не имел. Не мимо, видно, говорится: «крепка тюрьма, да чорт ли в ней». На восьмом году уже вырвался из заточения и узрил свет божий.

— Как же он вырвался? — спросил я.

— Добрые люди помогли, — отвечал рассказчик. — Ведь и у него были кой-кто доброжелатели, — продолжал старик. — Вот они-то и выручили его из заточения. Опоили ли чем сторожей, или подкупили казной, — верно не умею сказать, а только одно знаю: добрые люди выручили его.

— Выдравшись на волю, он и бежал прямо к прущкому королю, Фридрику, да ничего от него не получил, — говорит старик. «Есть когда не дал бы ты запись, я б беспременно за тебя вступился, — говорит Фридрих Петру Федоровичу, — ведь все-таки, говорит, ты мне приходишься сродни маленечко. А теперича, — хошь гневайся, хошь нет, твоя воля, — ничего не могу в удовольствие твое сделать, сам, чай, знаешь. Вот она, бумага-то печатованная, — говорит Фридрих, — ничего супротив нее не поделаешь. Нет, нет, товарищ! Она (то-ись Катерина Алекевна, — пояснил рассказчик), она, батенька, не в пример умнее нас с тобой, даром что женщина: на кривой лошади не объедешь. Взявши от тебя таковую запись, чтобы тебе не вступаться в царство, она, — говорит Фридрих, — тот же день велела напечатовать ее, да и разослала по всем царям и королям, чтобы всяк ведал, а ко мне, говорит, прислала две, мало, видно, одной-то. Вот возьми, читай! Пожалуйста, — говорит Фридрих, — не проси меня: ничего не могу сделать, сам знаешь наши уставы: коль скоро кто из владык земных откажется от царства и даст в том на себя запись, то век-по-веки должен оставаться без царства, по той самой причине, что царское слово свято, во веки веков нерушимо, не нами узаконено. Есть когда, к примеру, я за тебя вступлюсь, — говорит Фридрих, — то на меня вся Европия запиет, а одному супротив всех итти нельзя. Советую итти к турку, — говорит Фридрих, — он орда, нехресть, для него закон не писан; може он не посмотрит на твою

запись, да едва ли и есть она у него; а я, говорит, секретным манером, сколько смогу, буду вспомоществовать тебе и деньгами, и иным чем, в чем нужда будет, а армии, говорит, дать не могу».

— Вот такими-то словами и улещал Фридрих Петра Федоровича, — продолжал рассказчик. — А на самом-то деле — толковать ли! — его не запись страшила, а страшила сама матушка Катерина Алексеевна. Ведь она хоша и женского пола, а всех королей побивала: умна больно была.

— Таким манером, — говорил Иван Михайлович, — он, Петр Федорович-то, и объявился у нас, в Яике-городу, в семьдесят первом году...

— Не в семьдесят первом, а в семьдесят третьем году, — поправил я рассказчика.

— Как в семьдесят третьем? — спросил Иван Михайлович. — По нашим сказкам, он появился в семьдесят первом.

— Ошибаетесь вы все, Иван Михайлович, — сказал я. — В чем другом — не спорю — вы, может быть, и больше нашего знаете, а уж насчет года не спорь, Иван Михайлович. Верно: в семьдесят третьем.

— Как же так? — говорил с недоумением старик. — Ведь насчет него и песня есть.

И, не дожидаясь моей просьбы, Иван Михайлович тотчас же запел:

Того месяца сентября
Двадцать пятого числа
В семьдесят первым году
Во Яике-городу
Приходили к нам скоры вести:
Не бывать нам на месте.
Яицкие казаки —
Бунтовщики были, дураки,
Не маленькая была их часть,
Задумали в един час:
Генерала они убили,
В том не мало их судили:
Государыня простила —
Жить по-старому пустила.
Они, сердце свое разъяря,

Пошли искать царя.
Они полгода страдали
И царя себе искали.
Нашли себе царя —
Донского казака.
Донского казака —
Емельяна Пугача!
Он ко Гурьеву подходил,
Ничего не учинил.
От Гурьева возвратился,
С своей силой скопился.
К Яику подходил,
Из пушечек палил.
От Яицкого городка
Протекла кровью река.
Он к Илецку подходил,
Из пушечек палил.
Илецкие караки —
Изменщики-дураки —
Без бою, без драки
Предались вору-собаке.
В Татищевой побывал,
Всю артиллерию забирал.
Артиллерию забирал,
Рассыпну крепость разбивал.
Из крепости Озерной
На подмогу Рассыпной,
.....
В крепости Рассыпной
Был инералик молодой.
Инерал Лопухин был смел,
На коня он скоро сел.
На коня он скоро сел,
По корпусу разъезжал.
По корпусу разъезжал,
Всем солдатам подтверждал:
«Ой, вы, гой еси, ребята,
Осударевы солдаты!
Вы стреляйте, не робейте,

Свинцу, пороху не жалейте.

Когда мы вора поймаем,

Хвалу себе получим»...

— Дальше запомню, — сказал Иван Михайлович, кончив пение. — Да и с молодую-то я не очень любил петь ее: солдатская она!

Солдаты же, чтобы их одрало, — прибавил рассказчик, — солдаты же, знамо, и приплели тут:

Донского казака —

Емельяна Пугача!

— А по-нашему, — продолжал старик, — по-нашему, он был не Пугач, а настоящий Петр Федорович!

.....
.....
.....
.....

— Пробираясь, по совету турецкого салтана, к нашим казакам, Петр Федорович поторопился, взял да и объявился на Волге, в Царицыне, — понадеялся, значит, на народ, да и на волжских казаков. Народ хоша и признал его и поверовал в него, да солдатские командиры держали руку царицы, оттого и вышла запятая. Знамо, простой народ, примерно мужики, купцы, поддержать его не могли. Знамо, расейский народ не воин; расейский народ просто баран — больше ничего. Возможно ли простому народу устоять супротив солдат? И думать нельзя! И на волжских казаков была плоха надежда. Сколько их? Горсть одна, да и те на разброе, то-ись разбросаны: станица от станицы верст на сотню. Таким манером куда, бывало, он ни придет, народ везде встречу ему делал, как подобает, с хлебом-солью, с колокольным звоном, а командиры гоняли его. Устал он шляться из города в город попусту, взял да и удалился с Волги на Узени. Вот она, история-то, настоящая история!

Узнала — об этом государыня и тотчас же разослала с кульерами по всей анперии секретные указы ко всем командирам в такой силе, чтобы нигде его не принимали, а есть когда будет где усиливаться, то зарестовали бы и прислали бы за конвоем в Питер. И повелела об нем пустить в мире такую славу, якобы-де это не Петр Федорович; он-де, волею божиею, скончался, —

а это-де беглый с Дона казак Емелька Пугач. Уж так, бог знает почему, приплели тут донского казака, — заметил рассказчик, — благо под руку попался. Не надоумились, видно, кого бы получше приписать. Ай, ай! — сказал Иван Михайлович и покачал головой. — Хитрый народ, эти питерские енералы, — что и баить! хитрей теленка однако не будут.

После того, как на Волге-то он ославился и ушел на Узени, ему нельзя было прямо притти в наш город и объявиться всем казакам: в городе нашем, видишь ли, в ту пору солдаты стояли, и командир их сторожил его. Значит, и туда дошли царицыны указы об нем; везде, значит, царица упредила. Па этой самой причине он, до поры до времени, и приютился на Узенях, — место в ту пору было дикое, уединенное. А укрывали его там кое-кто из наших же казаков, особенно Толкачевы: большая была семья, и в городе дома имели, и в Бударине, и в Танинских хуторах. У них в семье по секрету и харунки шили, шелками и золотом расшивали. А в самом-то городе еще не знали, где он обретається. Слышать — слышали, — молва, батенька, далеко идет, — слышать — слышали, что был-де в городе Царицыне и ушел-де оттуда, а куда — не знали. Но вскорости обозначился.

Раз двое гулебщиков (охотников) из города едут около Сакрыла,¹ и увидали на чистеньком бережке на песочке у самой воды стоит холодничек,² а в нем и лежит он, то-ись Петр Федорович. Около него было человек пять наших казаков.

— Знаете ли вы эту особу? — опрашивают казаки гулебщиков.

— Нет, не знаем, — говорят гулебщики.

— Это царь! — говорят казаки. — Да вы, до поры до времени, молчите.

Тут и сам он сказал им, кто он такой есть. Говорил, что враги его гонят и нигде не дают ему покою, что у него одна надежда на яицких казаков. Тоже просил их, чтобы они, до поры до времени, никому не говорили, что видели его, а то-де хлопот себе наживут.

Охотники вернулись в город и сначала ни слова о том, что видели на Узенях, а потом не утерпели, кой-кому по секрету сказали. Вскорости молва разнеслась по всему городу. Услыхал и солдатский командир, что городом-то нашим в ту пору правил, и тотчас потребовал к себе гулебщиков. И те сказали ему всю правду, ничего, значит, не утаили. Того же дня командир послал на Узени команду, чтоб схватить его, а его там и след простыл, — Митькой звали! Солдатский командир хотел, знаешь, выслужиться пред

государыней, да не успел; по той самой причине, как зверь, расสวิрепел на гулебщиков, что не тое ж минуто по приезде объявили ему, и велел забить их досмерти. И забили бедных. А чем виноваты? Так занапрасно пострадали эти гулебщики, царство им небесное! — сказал Иван Михайлович и вздохнул.

— Тужишь ты о двух гулебщиках, Иван Михайлович, а в эту пору сколько, чай, кроме гулебщиков пострадало народа! — заметил я.

— И то правда, — сказал Иван Михайлович. — Сколько погибло в те времена тяжкие народу, — не сочтешь! Не даром в песне поется:

От Яицкого городка
Протекла кровью река...

— Уж какое-то, в самом деле, кровопролитие было на Яике в то время, как он гласно-то объявился народу, — индо старики не запомнят! — продолжал рассказчик. — От самого зачатия нашего войска не бывало таких трусов — мятежей и кровопролитных браней. И диву бы неприятель какой, что ли, напал, как в древние времена агаряне нападали, иль-бо как в двенадцатом году француз с два-десятью языками напал; тогда хошь то знаешь, что бьет тебя басурман, и ты бьешь басурмана, а то свои замутились, заколобродились, брат на брата, сын на отца восстал! Чудное дело, батенька! Родитель мой сам видел в городе, как брат брата застрелил; Горбуновы прозывались... родитель знал их. Один брат, молодой, в крепости был и стоял на валу, — значит, руку государыни держал; а другой брат, старшой, на приступ шел и лестницу нес, — значит, держал руку Петра Федоровича. Младший брат кричит с валу: «Братец родимый! Не подходи! Убью!» А старший брат ему в ответ: «Посмотрю, как убьешь!» Брат с валу: «Пожалуйста, братец родимый, не ходи! Убью!» А брат с лестницей ему в ответ: «Я те дам — убью! Постой, влезу на вал, надеру тебе вихор, — вперед не будешь стращать старшего брата». Сказал это и поставил лестницу к валу. Но, лишь только занес ногу на первую ступеньку, младший брат с валу — бац в него из пищали! И покотился старшой брат в ров. Родителя моего вчуже пробил слеза, а он тое ж секунду бросил стражение и бежал из города в обоз. Уж такое-то было кровопролитие, батенька! Бывало, мороз по коже подирает, как слушаешь стариков, что в ту пору жили и своими глазами видели... Значит, сбилось пророчество святых отцов.

— Какое пророчество? — спросил я.

— Как какое? — спросил в свою очередь старик. — Ты ведь не знаешь, али знать не хочешь, — продолжал старик, понизив голос и придав ему таинственный тон, — а у нас во всем народе известно, из предков идет пророчество Алексея-митрополита. Когда наши праотцы задумали основать город между Яиком и Чаганом, — а допреж того они жили вверху, на Кирсановском Яру, — вот тогда-то, видишь ли, являлся им святой Алексей-митрополит, на море где-то, и возвестил, что на новом-де месте постигнут их труссы — мятежи и кровопролитные брани. «А в едино-де время, — пророчил Алексей-митрополит, — а в едино-де время появится между вами такой небеглый царь, и из-за него-де вы примете много горя». Оно так и случилось, — добавил Иван Михайлович. — Ты думаешь, — продолжал он, — ты думаешь, что Пугач, по-вашему, просто так себе Пугач, явился да и вся недолга. Как же! Нет, батенька! Он явился неспроста, а по определению божию. Значит, и был он не Пугач, то-ись не донской казак Емельян Пугачев, а сам настоящий Петр Федорович. И спорить нечего.

— Да я и не спорю, — сказал я. — Говюриика, что далыше-то было?

— Что дальше-то было? — сказал Иван Михайлович и призадумался. — Как тебе пересказать, что дальше-то было, я уж и не знаю, — промолвил он, немного погодя. — На что уж родитель мой жил в ту пору, многое своими глазами видал, а и тот, бывало, махнет рукой и скажет: «Кутерьма была!» Знамо, — продолжал старик, — народ, как един человек, поверил в него, а начальники держали руку государыни и отклоняли от него народ: говорили, что он не царь, — тот-де давно умер, — а самозванец. От того самого и заварилась каша, поднялась пыль столбом от всего света: кто за царя, кто за царицу. На что уж наш Мартемьян Михайлович (Бородин), кажись, должен бы стоять за него, потому — должен бы знать, что он не самозванец, — а и его солдатские командиры соблазнили: и он поднял руку на него...

. — Почем же Мартемьян Михайлович должен был знать? — прервал я рассказчика.

— Как почем? — отвечал рассказчик. — Ведь его многие из наших казаков признавали, и он многих признавал. К примеру, спросит, бывало, он: «А жив ли у вас сотник, иль-бо старшина такой-то?» Скажут: «Жив!» — «А где он?» — спросит. — Позовите-ка его ко мне!» И приведут, бывало, к нему, кого спросит. «Здравствуй, — говорит, — Иван, иль-бо Сидор!» Тот скажет: «Здравствуйте, батюшка!» — «А что, — спросит, — цел ли у тебя жалованный ковш (иль-бо сабля жалованная), что я тебе пожаловал, когда

ты, тогда-то вот, приезжал в Питер с царским кусом?» — «Цел, батюшка!» — скажет тот, и тут же вынет из-за пазухи, иль-бо домой сбегает и принесет жалованный ковш, иль-бо другое что, чем жалован был в Питере. Как же он не царь-то был? — сказал старик. — Как же он не царь-то был, есть когда знал, кто, когда и чем жалован был? — повторил старик. — А раз вышел, сударь мой, такой казусный случай, — продолжал старик. — Спросил он одного казака, цел ли у него жалованный ковш. А тот, сдуру ли, с испугу ли, бог его знает, — возьми да и отрекись. Говорит, что никогда ничем не был жалован. Разгневался Петр Федорович на него и приказал повесить как супротивника, — и повесили! Лишь только вздернули бедняжку на рели, в эту самую пору кто-то из домашних нашел жалованный ковш где-то в сусеке с мукой, — вишь куда запрятал, — и представил к Петру Федоровичу, на ковше-то и подпись была, кому пожалован. Однако поздно было: умер тот в петле. Значит, от своей глупости пострадал. Да что об этом толковать! — сказал старик. — Всему миру было известно, что Пугач был не Пугач. Стало быть, и Мартемьян Михайлович знал, однако не поверовал в него, а пристал к солдатским командирам, присугласил к себе человек с триста иль-бо с четыреста наших казаков и бежал с ними из Яицкого городка Бухарской стороной в Оленбурх (Оренбург) и во все время, покуда продолжалось бунтовство, стражался супротив него. Знамо, выслужиться хотел перед государыней, и впрямь выслужился! — прибавил рассказчик. — Как кончилась завороха, Мартемьян Михайлович атаманство получил, да та беда, что атаманства-то своего не видал, да и родину свою не узрел: в Питере пропал! А все он его доехал, то-ись Пугач, по-вашему.

— Спервоначала Петр Федорович большую имел удачу, — продолжал старик, — по той самой причине, что многие из солдатских командиров, хоша явно и не приставали к нему, хоша и распускали об нем славу недобрую, — знамо, боялись государыни: та тоже шутить не любила: чуть не так — в Сибирь! иль-бо другое что, не лучше Сибири! — все-таки, помня присяжную должность, несколько потрафляли ему. Где бы, примерно, надобно выслать супротив его армии полк иль-бо два, а они вышлют только роту иль-бо много что две; где бы нужно выставить супротив него целую батарею, примерно пушек двадцать-тридцать, а они, словно на смех, выставят пушченку иль-бо много что две. Пух! Пух! — да и драла от него. Только славу сделают, что стражаются, а на самом-то деле словно в кулюкушки играли... И то надо сказать: боялись и его. Почем знать, куда б дело повернуло? Есть когда бы он взаправду овладел царством и сел на престоле, — тогда б им и от него не уйти, — не стал бы и он их гладить по головке. Но женитьбой своей он всю кашу испортил. Как только узнали, что

он женится на Устинье Петровне, так все и запяляли: «Какой он царь, — все заговорили, — коли от живой жены женился!» Женишьбой, ничем другим, он и подгадил сам себе, — прибавил рассказчик.

— Кстати, Иван Михайлович, каким родом он женился? — спросил я. — Сам, что ли, захотел, или кто смутил его?

— Знамо, смутили! — отвечал старик.

— Кто же? Наши, что ли? — спросил я снова.

— Куда нашим! — отвечал старик; — Нашим, чай, и во сне бы не пригрезилось лезть в родню с царской фамилией.

— Да кто же?

— Знамо кто! — сказал Иван Михайлович. — Из Москвы или из Питера, все единственно, оттуда, вишь, подослали на Яик такого сахара-медовича: он и соблазнил его и всех приближенных ввел в грех великий. Шутка ли, в самом деле, от живой жены жениться? — прибавил рассказчик.

— Мудрено что-то, Иван Михайлович! — заметил я.

— Вовсе не мудрено, — сказал старик. — Родитель мой насчет этого дела рассказывал так: «Хоша-де государыня и огласила, что это не царь, а Пугач, однако не много этим взяла: народ все-таки поверовал в него, и везде, во всех, значит, городах и селах, куда он являлся, встречал его, как подобает, с хлебом-солью, с крестами, образами и колокольным звоном. Царица рассылает во все концы анперии указы, чтобы не веровали в него, а он рассылает свои, чтобы ей не верили. Ее указы не действуют, а его указы действуют. Знамо, мужу больше веры. По этой самой причине Москва начинает волноваться. Что Москва! — вся Расея стала волноваться и потребовала царя! То же самое и армия: стала, как говорится, на распутьи: ни туда ни сюда». Я уж сказывал, как армия-то стражалась: только отвод делала, а не стражалась. Государыня видит, что дело плохо, и пошла на выдумки. И выдумала, говорят, такую штуку, чтоб ославить ей, острамить его на весь мир, взяла да и подослала к нему такого лукавого человека: он и соблазнил его, наплел ему турусов на колесах. «Яицкие казаки, — говорит подсылный Петру Федоровичу, — первые тебя признали, первые в тебя поверовали, первые они тебя поддержали, по их-де милости ты престол себе добываешь: по этой самой, говорит, причине ты и должен

отблагодарить их, возвысить род их, то-ись взять в супруги себе из ихнего роду честную девицу, — а та, что в Питере, сам знаешь, для тебя не годится, одна-де дорога ей в монастырь. А из другого какого рода брать супругу тебе не приходится по той самой причине, говорит, что должен же ты осчастливить яицких казаков: ведь они кровью своею за тебя разливаются». Говорится: «на всякого мудреца довольно простоты». Так и с ним случилось, то-ись с Петром Федоровичем: положился он на слова лукавого человека и погубил себя! А на наших казаков болтают, якобы они соблазнили его на женитьбу; вовсе не они, — прибавил рассказчик. — Если и был грех с их стороны, то такой же, что и они поверили словам лукавого человека.

— Смешная, однако ж, история, — заметил я. — Трудно поверить такому несообразному делу. Сам посуди, Иван Михайлович, статочное ли дело, чтобы царь женился на своей подданной, на рабе, можно сказать?

— Смешного в этом деле ничего, батенька, нет! — отвечал рассказчик. — Рази он первый, что ли, женился на своей... на своей рабе, как ты называешь? Рази встарь благоверные цари наши не женились на своих, то-ись на расейских боярышнях? А? — спросил меня рассказчик. — Женились, женились, батенька! На своих женились. Между нами будь сказано, ведь Петр Первый Алексеевич, дедушка Петра Федоровича, проявил такую моду, женился на иностранной. С той поры цари наши и стали жениться на иностранных царевнах, а до него этого, почитай, не бывало, — до него цари наши брали себе в супруги из расейских боярышень, какая кому полюбится. А что боярская дочь, что казачья дочь — р̀ази не все равно? А? Никакой отклики нет: всяка жена по муже честна. Петр Федорович мог проявить и свою моду, потому волен был! Вся притча, батенька, не в том, что он женился на казачьей дочери, а в том, что от живой жены женился, — вот это-то самое и погубило его.

Против такого довода я не возражал. Старик продолжал:

— С той самой поры, как он женился на Устинье Петровне, мир и усумнился в нем. Выходит, он не соблюл божеского устава, на семи вселенских соборах установленного. Спервоначала ему следовало овладеть престолом и по уставу семи вселенских соборов развестись с Катериной Алекевной, а потом уже и приступить к новому бракосочетанию, с Устиньей ли Петровной, или с какой другой — все единственно; а он этого не соблюл, потому, значит, лукавые люди соблазнили: им того только и хотелось. Усумнился в нем народ и мало стал оказывать ему почтения и покорности. То же самое и

казаки наши. Сначала все горой за него стояли, а тут мало-помалу стали от него отклоняться, хотя и не стражались супротив него, а и за него не стояли, лыняли... А пуще всего солдатские командиры с этого самого времени ободрились, подняли головы и стали наступать на него по-настоящему, по-всправски, все смелее да смелее, — смекнули, значит, что ему царства не видать, как ушей своих, а напоследок загнали его, голубчика, на Узени, словно тушкана (зайца) на прежнее логово. Тут и похождениям его конец! С Уденей чинным манером взяли его и представили в наш город, а из нашего города представили в Москву, к государыне. Только его и видели. Государыня, значит, приспокоила его.

— То есть казнила! — подсказал я.

— Как бы не так! — возразил старик. — Не точию его, а и тех, кто из наших казаков при нем в графах и сенаторах состоял, и тех, сударь мой, никого не казнили.

— Как так? — спросил я с крайним изумлением.

— Да так! Не казнили, и вся недолга! — сказал Иван Михайлович. — Я ведь русским языком говорю, что то был не Пугач, а сам Петр Федорович. Дак как же его-то казнить? Надо с ума сойти, Христос с тобой!

— Воля твоя, Иван Михайлович, а я не поверю этакому несообразному делу, — сказал я. — Ведь всему миру известно, что его казнили в Москве, среди белого дня, при собрании всего московского народа.

— Все знают, что казнили, — возразил рассказчик. — А кого казнили? Не всякий, видно, знает. Казнить-то казнили, что и бать!. — прибавил старик, — да не его, — об этом и подумать-то грешно, — а другого казнили, такого, вишь, человека подыскали из острожников, что согласился умереть заместь его. Московский народ, — продолжал рассказчик, — знамо дело, не знал, не видал, кто воевал на Яике. Сказали: «вот де Пугач!» Ну, и ладно! Пугач — так Пугач! Нечего, значит, и толковать. А наши казаки, кои в ту пору были в Москве, своими глазами видели, кому голову отрубили. Говорили, что похож-де обличьем на Петра Федоровича, а не он. Вот она, притча-то какая, — прибавил рассказчик. — Значит, один близир показали. То же насчет приближенных его, наперсников: ни одного, батенька, не казнили; всех, значит, отстоял, никакого не дал в обиду, все померли своей волей, кому когда конец пришел. Жили кто в монастыре, кто на островах, а Зарубин, он же и Чика, весь век прожил на Яике и умер своей волей на Яике,

только жил по тайности, под чужим именем, прозывался Заморшеевым.

Я посмотрел на рассказчика с крайним удивлением и хотел было заметить о нелепости подобной сказки, но старик предупредил меня, сказав:

— Ты не дивись, батенька! Врать тебе не буду. Родитель мой своими ушами слышал об нем от покойного благочинного Асафа Карчагина, — чай, помнишь его? Недавно умер. А благочинный Асаф не раз видал Зарубина, в Сергиевском ли, в Бударинском ли скиту, — хорошенько не помню. Он же перед смертью Зарубина исповедовал и причащал его. Хошь верь, хошь не верь, а я не лгу, — прибавил рассказчик. — Благочинный Асаф — всем известно — не такой был человек, чтобы с ветру болтать.

— Быть по-твоему, Иван Михайлович! — сказал я немного погодя. — Однако растолкуй-ка мне вот это: как же он, самоназванный ваш Петр Федорович, был незнающий грамоты?

— Болтают, болтают! — отвечал старик. — Господа сболтнули про него. Он, видишь ли, поперек горла им стал, солон показался, так из ненависти одной и навели на него эти наводь, чтобы унижить его. А он, правду надо сказать, куда был лют для них, не спускал им.

Пластал и резал,
На кол сажал и вешал...

И все значит и дед, а того, что сами они ему много насолили: невестке, значит, на отместку. Не знающий грамоты! — говорил старик, покачивая головой и улыбаясь. — Да кто в здравом уме поверит такому несуразному делу? А? Царь — и грамоты не знал! Смешно! Да ведь он был — вполовину немец, чудак ты этакой! А немцы народ мудреный, не хуже агличан. Так как же ему грамоты не знать? Он, я думаю, на всяких языках знал. Только рази по-калмыцки да по-татарски не знал. Как же ему расейской-то грамоты не знать? Чудно толкуешь. Есть когда бы сызмальства не знал, то, жимши в Расеи, научился бы. Толковать ли!

— Да ведь во всех бумагах, во всех книгах значит, что он не знал ни аза в глаза, — заметил я.

— Что ж, что в бумагах, в книгах значит? — возразил старик. — Бумаги, книги кто писал? Господа писали! Поди и верь им. А ты слушай, коли хочешь знать всю правду-истину, ты слушай, что старики говорили, — продолжал рассказчик. — Старики говорили вот что: бывало, соберутся в каком доме по

тайности часы ли, всенощную ли отслужить, — он так отчитывает «псалтыри», «апостолы», любо-дорого слушать, вчеред де иному канонику или уставщику прочитать. Вот что говорили старики, а господа, не в обиду будь сказано, болтают... В чем другом не спорю, — може, господа и не лгут, — продолжал Иван Михайлович, — а уж насчет его, якобы он был Пугач, то-ись самозванец, якобы и грамоты не знал, якобы и в одежке нужду имел, — насчет этого болтают! Примерно, насчет одеянья. Ну, кто в здравом уме поверит этакому несообразному делу, якобы он в ту пору, как объявился народу и покори́л под свою державу Яицкий город и все форпосты вверх по Илецкого города, в ту пору якобы он не имел на себе хорошего, приличного его званию одеянья? А? — напал на меня Иван Михайлович. — Ведь ты же говорил моему родителю, когда есаулом у нас был, — я помню, родитель мой долго-долго после того смеялся над такой несуразностью, — ты же говорил, якобы он ходил оборванцем в ту пору, как объявился народу под своим званием, и разжился якобы, хорошей одеждой в Илецком городке после атамана тамошнего, Портнова? А? Не правда, что ли? Ведь об этом в книгах написано? А? — вопрошал меня Иван Михайлович.

— Да! — сказал я и утвердительно кивнул головой.

— И ты веришь? — спросил старик.

— Как не верить? — отвечал я. — Дело статочное.

— Не верь, батенька! — сказал старик. — Совсем дело нестаточное, дело несуразное. Болтают, болтают! А ты верь старикам: они не солгут. Родитель мой, — продолжал рассказчик, — родитель мой сам лично удостоился видеть его близ Бударина, или Кожехарова, в ту самую пору, как он только что прибыл с Узеней и объявился народу, еще и к нашему-то городу не подступал, а об Илецком городке и слухом не слышать было. Вот, видишь ли, в какую пору родитель мой видел его. И на нем, батенька, в ту пору одеянье было нарядное, пышное, — просто с брызгу! Парчевый кафтан, кармазинный зипун, полосатые канаватные шаровары запущены в сапоги, а сапоги были козловые с желтой оторочкой, — родитель все заприметил, — шапка на нем была кунья с бархатным малиновым верхом и с золотой кистью, а кафтан с зипуном обшиты широким, в ладонь, позументом. Лошадь под ним была белая, словно лебедь; седло киргизское, с широкой круглой лукой, оковано серебром, а в середке вставлен сердолик с куриное яйцо; то же и уздечка, нагрудник, пахвы, стремяна — вся конская сбруя убрана была серебром и сердоликом, — родитель мой все заприметил. Вот он каким оборванцем-то был! — заключил старик свое описание.

Немного погодя, он продолжал:

— Пущай, родитель мой и не видал бы его, а я в жисть не поверю, чтоб у него хорошей одежды не было. Спервоначала, как по тайности жил, нешто, он и в армячишке ходил, чтобы не признал кто его, дело видимое. А в ту пору, как объявился настоящим своим званием, в ту пору, батенька, хоша бы у него и не было своею хорошего одеянья, в ту пору Толкачевы иль-бо другие кто из наших казаков могли бы, чай, обрядить его как следует; ведь, к примеру, бабьих-то сарафанов да фуфаек не занимать стать было; а из одного сарафана парчевого или азарбатного — в старину все парчи да азарбаты в ходу были — из одного бабьего сарафана два-три мужских кафтана сшить можно. Как теперича, так и в старину во всяком мало-мальски справном доме, где есть молодые бабы и девки, — во всяком доме отыщется шелковья настолько, чтобы обрядить одного человека, об этом и толковать нечего, — заключил старик.

— Ехали тогда наши казаки в город с рыбой, — продолжал немного погодя Иван Михайлович, — ехали, и в полдни при Бударином ерике остановились кормить. Только что выпрягли лошадей и навели котлы, как увидели: со степи едут на рысях вершники, человек пятнадцать-двадцать, и все с харунками, а у иных харунки по две, по три в руках; харунки все намотаны на древках, одна только развевалась. Казаки наши дивуются, что бы такое это значило. Вдруг во весь мах подлетел к ним один вершник и закричал:

— Царь едет! Царь едет! На дорогу выходите!

Тут только наши догадались, в чем дело. Вышли все на дорогу и пали на колени. А вершники подскакали к дороге и стали во фронт и все харунки распустили. А харунки были и алые, и голубые, и желтые — всякого цвета, с крестами, с кистями, расшиты и шелком, и канителью, — любо смотреть было! А он тихо, важно выехал на дорогу, подъехал к обозникам, — тут и родитель мой был, — поздоровался с ними, назвал их детушками и велел встать.

Все встали. А он, не слезая с коня, протянул руку, и все один за другим подходили, прикладывались к его ручке. Почесть со всяким он разговаривал, спрашивал: как кого зовут, откуда, куда и зачем едут? И все ему отвечали с почтением, как подобает; говорили, что едут в город, везут рыбу на продажу, чтобы запастись мукой и всякими нужностями, чтобы оружие исправить, свинцом-порохом запастись.

— Дело хорошее, — говорит он. — Поезжайте с богом! Да не торопитесь, говорит, обратно ехать, може вы мне пригодитесь в городе, може — чего боже сохрани! — може доведется мне добывать город ваш вооруженной рукой. Там, говорит, знаю, недруги мои сидят.

— Это, — пояснил рассказчик, — намекал он на солдатских командиров. Вот тут-то, — продолжал Иван Михайлович, — родитель мой и посмотрелся на него досыта, с ног до головы оглядел, заприметил, в каком одеянье он был: одеянье на нем, батенька, было нарядное, первый сорт, с брызгу, а вы толкуете — оборванцем ходил. Пустяки!

— Ладно, ладно, Иван Михайлович, — сказал я, — быть по-твоему. А объясни-ка вот что: в песне говорится:

Он ко Гурьеву подходил,
Ничего он не учинил.

— А по бумагам, по книгам, — продолжал я, — не значится, чтобы он подходил к Гурьеву. Растолкуй-ка?

— Что правда, то правда, — сказал старик. — Он точно, что к Гурьеву не ходил своей особой, а посылал туда Максимыча Сереберцова. Этот был из наших же казаков, состоял при нем в графах. Сам Петр Федорович пошел от нашего города вверх к Оленбурху, а Сереберцову препоручил итти на низ к Гурьеву, — приводить, значит, народ к присяге. И Сереберцов пошел, сначала шел он Бухарской стороной, чтобы не столкнуться с теми, кто держал руку царицы, — ведь и из наших были такие, что не веровали в него, а все, знамо, Мартемьян Михайлович смущал. В Мергенева перешел на Самарскую сторону и прошел всю линию вплоть до Гурьева. С форпостов казаков забирал. В Калмыковой попа повесил и еще кой-кого, кто Петра Федоровича не признавал, Гурьев осаждал и приступом взял, роту солдат, что в Гурьеве стояла, всю перебил, а казачьего старшину, что в Гурьеве атаманом над казаками был, в пример и страх другим, плетью отшлепал и повесил: вишь ли, и он не веровал в Петра Федоровича. В отряде Сереберцова был с нашего Красноярского форпоста казак Степан Ефремов. Этот гораздо старше был родителя моего, я уж в ребячестве помнил его древним стариком. Много он денег вывез с собой из этого похода, все золотом, — в Гурьеве добыл. А Железнов, Тимофей Митрич, дедушка иль-бо прадедушка Железновым, что в Гребенщикове живут, этот был хорунжим в отряде Сереберцова, а после состоял в каких-то больших чинах при самом Петре Федоровиче. Я и его помню, Тимофея-то Митрича. Вот от него-то я и

слышал про поход Сереберцова к Гурьеву, как они там резолюцию делали непокорливым. В Гурьеве пристал к Сереберцову Ларочкин, гурьевский казак, — тоже воин был, не давал никому спуску, кто не корился Петру Федоровичу и не признавал его. Попа гурьевского, старого старика, повесил, — тот не хотел народ к присяге приводить. Сын попа, тоже поп, только помоложе, как ни упрашивал Ларочкина, с крестом к нему выходил, чтоб помиловал старика-отца, — нет! не упросил; не помиловал Ларочкин, — такая уж душа была злющая... Три раза вздергивали попа на рели, и три раза петля обрывалась, а поп пощады не просил. Каждый раз, как повиснет, так и перекрестится, да бороду станет расправлять, чтобы в петле не завязла, — вишь, и старик-то был какой устойчивый, нравный, даром что поп. В четвертый раз не оборвался, — повис... Еще, говорили, Ларочкин же повесил одну казачью женщину, беременную, батенька, — вот что нехорошо, — и повесил-то за одно какое-то слово... сдуру ли, али с чего другого, сказала она что-то нехорошее насчет Петра Федоровича. И Максим Сереберцов, говорили, не одобрил его за этакое дело. Да Ларочкину горя мало. Не об нем будь сказано, он много крови пролил занапрасно... не лучше был Карги...

— А Карга? — спросил я.

— Зверь! — сказал Иван Михайлович. — Настоящий зверь лютый был, что греха таить. Хоша и за царя стоял, а многих, кого бы совсем не следовало, многих загубил из злобы одной... Я тебе расскажу об нем, что сделал он с одной женщиной, — родитель мой сам был тому свидетелем.

Из всех наших казаков, что состояли при Петре Федоровиче в графах и енаралах, самым первым яроем был Каргин, иль-бо Карга, все единственно, — говорил рассказчик. — Все эти Перфильевы, Зарубины, Толкачевы и иные прочие в подметки не годились Карге, все они супротив Карги агнецы были, батенька мой; а Карга... — одно слово — Карга, — готов был у отца родного глаз выключнуть. Раз он сделал донос на одну старшинскую жену, чуть ли не Донскову, хорошенько не знаю, родитель называл по имени, да я запомнил. А донос был в той силе, якобы она провожала сына своего, молоденького малолеточка, с Мартемьяном Михайловичем в Оленбурх, плакала над ним и причитала: «легче-де мне видеть тебя, ненаглядное мое дитячко, убитым, нежели-де на службе у разбойника». Женщину присудили на смерть и подвели к релям. Женщина была средних лет, красивая, высокая, дородная, лебедь-женщина и — беременна. Петр Федорович посмотрел на нее и сжалился. Походил он

около релей и говорит:

— Не напрасно ли мы ее казним?

— Коли ее жаль казнить, то казни меня! — говорит Карга.

Петр Федорович походил, походил около релей, да и опять говорит и смотрит на Каргу:

— Не напрасно ли, граф?

— Коли не ее, — говорит Карга, — то меня казни!

— Видишь ли, Карга злобу питал на всю ту семью, из которой женщина была, — прибавил рассказчик. — Може, она и слов-то тех совсем не говорила, что Карга на нее взвел, да уж сказано, он злобу питал на ее семью, и кончен был! Ему, значит, нужно было утолить злобу на ком ни на есть из этой семьи. Женщина-то и попалась.

Петр Федорович опять говорит:

— Беременна она, граф: зачем губить в утробе невинного младенца? Родится и царю пригодится.

— Не младенец в утробе у ней, — говорит Карга, — а щенок от тех кобелей, что на твою царскую милость лают!

Петр Федорович махнул рукой и отошел прочь.

— Делай, как знаешь, — сказал он Карге.

Карга просиял от радости. Вздернули бедную женщину на рели, а петля оборвалась. Другую навязали, и та оборвалась. Карга и тут не почувствовался, снял с себя шелковый пояс и на нем удавил бедную. А младенец в ней так и затрепехтался, так и затрепехтался, индо рѣба на всех нашла. Все, кто тут был, все так и попадали наземь, чтобы не видать мученья женщины. Только Карге нипочем: ухмыляется, да за ноги подергивает удушенную. Вот он какой злющий был, этот Карга! — заключил рассказчик.

— Нечего сказать, хорош был и главный-то заводчик! — заметил я.

— Каков бы ни был, хорош ли, дурен ли, не наше дело, суди его царь небесный, а не мы, — промолвил старик таким тоном, который ясно давал

разуметь, что о поступках Пугачева мы, ничтожные смертные, не должны рассуждать.

Потом, немного погодя старик продолжал:

— Пожалуй, что хоть про него говори, как хоть его называй, — язык без костей, все мелет, — а все-таки он был не самозванец, а настоящий царь.

Правда, и он много перевел народу, супротив этого говорить нельзя. Да рази солдатские командиры под конец бунтовства меньше перевели народу? Пожалуй, еще и больше!.. Он, к примеру, казнил и вешал тех, кто не веровал в него, а солдатские командиры казнили, вешали тех, кто веровал в него. Поди и разбирай, кто прав, кто виноват. И выходит — все были хороши. Про него, примерно, говорится:

Пластал и резал,
На кол сажал и вешал...

А вот про солдатских-то командиров никто, чай, и заикнуться не смеет, что они народ вешали да на глаголь вздергивали.

— На глаголь? Это что за штука? — спросил я.

— Это штука проста, да и забориста!.. — сказал старик и улыбнулся. — Это, батенька, был столб, а на конце его, в бок, рычаг приделан. И был столб этот с рычагом, похож на слово (букву) глаголь, что в азбуке. По этому самому он и назывался глаголем. Понял? — спросил рассказчик.

Я утвердительно кивнул головой. Старик продолжал:

— Так родитель мой мне рассказывал, он видел эти глаголи, видел и то, что на них делали. На конце рычага кольцо было приделано, в кольцо веревка продета с железным багром. Кого надо, заденут за ребро багром, да и вздернут на воздуси, вертись, как хошь, а не сорвешься... Вот она какая штука, этот глаголь! Во всех главных, то-ись причинных местах стояли рели и глаголи, на чем народ казнили после бунтовства. И, я помню, в Калмыкове и Кулагине остатки их долго стояли после бунтовства. Когда, бывало, случалось ехать мимо, родитель указывал на них и говорил: «Смотри, Ваня, и помни: на этих самых столбах народ усмиряли».

1 Озеро между реками Большим и Малым Узенями

2 Среднее между шатром и навесом.